

Невидимая рука истории: «гувернаментальность», провиденциальная машина и исторический материализм

Игорь Кобылин

Старший научный сотрудник, лаборатория историко-культурных исследований, Институт общественных наук (ИОН), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС); доцент, кафедра социально-гуманитарных наук, Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ). Адрес: 6030005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1. E-mail: kigor55@mail.ru.

Ключевые слова: управленчество; суверенитет; исторический материализм; провиденциальная машина.

Статья посвящена одному из аспектов генеалогии советского управленчества. Мишель Фуко, разработавший оригинальную концепцию различных видов управленчества, отказывал социализму в способности продумать собственные практики управления. С его точки зрения, реальный социализм подключается к уже существующим вариантам правительности — полицейскому или либеральному. И если «полицейско-административный» аспект политики в социалистических странах хорошо известен, то ее либеральная составляющая только начинает систематически изучаться. Вместе с тем уже на уровне теоретического канона революционный проект оказывается во многом близок либеральному: марксистская критика буржуазной политэкономии разделяла с последней одну и ту же эпистему. Эта общность затрагивает и представления об историческом процессе — экономическое управленчество может пониматься не только в качестве особого, исторически опре-

деленного диспозитива власти, но как принцип — онтологический и эпистемологический одновременно, — управляющий самой Историей.

Радикальная критика такого «экономизма» зачастую оборачивается апологией суверенного решения, а возрождение суверенности в поле освободительной политики не может не быть проблематичным, тем более при условии, что суверенность и управленчество принадлежат одной и той же «провиденциальной машине» теологической «ойкономии», как убедительно показали недавние штудии Джорджо Агамбена. На примере глубоко изученной Андреем Юргановым дискуссии советских историков эпохи сталинизма о подлинном характере русского позднесредневекового государства автор демонстрирует парадоксы суверенной приостановки «законов истории». В заключение делается попытка противопоставить работе «провиденциальной машины» подрывную силу учредительной власти в интерпретации Антонио Негри.

В КУРСЕ лекций «Рождение биополитики» (1978–1979), который, как известно, посвящен не столько биополитике, сколько либеральному и неолиберальному управленчеству (*gouvernementalité*), Мишель Фуко задается вопросом о возможности управленчества социалистического и в итоге дает отрицательный ответ:

Я полагаю, что самостоятельного социалистического управленчества не существует. Не существует управленческой рациональности социализма¹.

По Фуко, социализм использует уже существующие типы правительности. Он может подключаться и к «полицейскому» варианту *gouvernementalité* с его «гиперадминистративным государством», и к либеральному варианту управленчества, функционируя в качестве его «противовеса» и «корректива». Реальный социализм слишком занят вопросом о своем соответствии текстам «основоположников», чтобы озаботиться, наконец, собственной управленческой рациональностью, и потому вынужден обращаться к заимствованным, внешним формам этой последней.

Если альянс социализма с «полицейским» администрированием был неоднократно описан независимо от фукианской концепции управленческих практик, то его подключение к либеральной правительности только начинает всерьез изучаться². И часто это подключение трактуется как «противоестественная» сборка гетерогенного: для левых это уступка извращенной логике рынка, для правых — победа экономической рациональности над идеологи-

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС «Этические аспекты исторического знания как предмет философии истории 2010-х годов».

1. Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году. СПб.: Наука, 2010. С. 120. Перевод изменен.
2. См.: Дин М. Правительность: власть и правление в современных обществах. М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2016; Бикбов А. За порогом новой эры правления // Дин М. Указ. соч.; Rindzeviciute E. The Power of Systems: How Policy Sciences Opened Up the Cold War World. Ithaca; L.: Cornell University Press, 2016.

ческим безумием. Однако необходимо вспомнить, что, согласно Фуко и некоторым близким к нему исследователям, тексты «основположников», на верность которым присягал реальный социализм и с которыми он сверял собственную практику, недвусмысленно демонстрируют, что марксизм и либеральная политэкономия принадлежат одной эпистеме³, а Маркс — «естественный преемник Смита»⁴.

Еще до своих «гувернаментальных» штудий, описывая в «Словах и вещах» современную эпистему, одной из главных особенностей которой является историчность как способ существования любых «эмпирических существ», Фуко показал, что родившаяся на рубеже XVIII–XIX веков политэкономия отличалась от предшествующей ей «анализа богатства» именно тем, что с самого начала впитала в себя эту историчность. Уже у Адама Смита политэкономический проект, вырываясь за пределы «игры представлений», отсылает к антропологическому времени (конечность человеческой жизни), с одной стороны, а с другой — открывает собственно экономическое время, «время капитала и режима производства»⁵. Однако в полной мере историчность политэкономии раскрывается у Давида Рикардо. В его работах реорганизованная благодаря новому пониманию труда экономическая причинность становится той основой, на которой вырастает представление о непрерывном линейном историческом времени:

На уровне условий возможности мышления Рикардо, отделив образование стоимости от ее репрезентативности, сумел выявить взаимосочлененность экономики и истории⁶.

Эта «взаимосочлененность», предполагавшая одновременно историзацию экономики и экономизацию истории, мыслилась, впрочем, довольно странно. Открытие исторического измерения сопровождалось навязчивой идеей о постепенном замедлении исторического движения и даже о его полной остановке. Согласно интерпретации Фуко, в «пессимистическом» варианте Рикардо История как бы компенсирует естественные ограничения человека. Но рано или поздно в драматическом соревновании труда

3. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А-сад, 1994. С. 286.

4. Розанваллон П. Утопический капитализм. История идеи рынка. М.: НЛО, 2007. С. 33.

5. Фуко М. Слова и вещи. С. 252.

6. Там же. С. 280.

и нехватки наступит тот момент, когда труд в результате вынужденной демографической стабилизации начнет полностью соответствовать потребностям. Достигнутый гомеостаз будет сохраняться, делая всякий избыточный труд лишеным смысла и обрекая на вымирание избыточное население. Используя словарь более позднего Фуко, можно сказать, что экономическое управление выполняет здесь и биополитические функции.

Однако политэкономия и организованный вокруг нее либеральный дискурс управления далеко не всегда мыслили конец Истории пессимистически. Обобщая и несколько упрощая, можно было бы сформулировать так: экономическая «гувернаментальность», ставшая принципом исторического развития, как бы использует историю в качестве исчезающего посредника, чтобы триумфально утвердиться в своей квазиприродной рациональности. История в этом случае — это постепенное обнаружение тайных экономических законов, управлявших поверхностной военной, политической и культурной событийностью. Причем сами законы, само имманентное миру экономическое *ratio* толковались двумя основными способами: первый условно можно назвать «просветительским», а второй с еще большей долей условности — «гегельянским». В первом варианте законы изначально даны в своей оптимальной форме, а значит, история должна трактоваться как драма их человеческого непонимания. История — это история предрассудков, и, как только иррациональные иллюзии окончательно разбиваются о незыблемую экономическую закономерность и этой последней люди начинают следовать уже рефлексивно, история исчезает вместе с этими иллюзиями. Во втором случае история — это скорее эксперимент экономики над самой собой, это время, которое она затрачивает на собственное диалектическое преобразование, чтобы наконец достигнуть оптимального результата. Хитрость историко-экономического разума напрямую ведет к невидимой руке рынка — таков бесхитрый вывод «экономического» гегельянства⁷. При всем различии этих способов мыслить связку истории/экономики они сходятся

7. Образцовый пример этой логики см.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ Москва; Хранитель, 2007. Отмечаемая почти всеми комментаторами «наивность» этого текста работает как предельное «обнажение приема». (Впрочем, оптимизм у Фукуямы не без оговорок — «тимотический» избыток, присущий самой человеческой природе, делает пост-исторический мир хрупким и уязвимым.) У Гегеля, как показал Альтюссер, сама экономика, приводимая чуждым ей законом духа, понимается как хитрость разума (Альтюссер Л. За Маркса. М.: Праксис, 2006. С. 156).

в позитивной оценке конца истории. Последняя уступает место естественно-рациональной форме свободного рынка, способного обеспечивать бесконечный рост благосостояния, нейтрализуя любое подлинно историческое изменение.

Как уже отмечалось выше, согласно «Словам и вещам», Маркс полностью принадлежит этой эпистеме. Пьер Розанваллон, написавший свою книгу о либерализме примерно в то же время, когда Фуко разрабатывал теорию управленчества, также полагал, что Маркс следует либеральной политэкономической логике, но идет чуть дальше. Автономизация экономического поля, являвшаяся для либеральной мысли финальным обнаружением скрытой истины истории, для Маркса — лишь ее промежуточный этап. Экономика не упраздняет историю, но, продолжая исторически развиваться, должна упразднить саму себя:

Только при условии этого двойного угасания [то есть угасания политики и экономики как автономных сфер деятельности] возможны «отношения всеобщности» человеческого рода⁸.

Здесь не столько история является исчезающим посредником экономики, сколько, наоборот, экономия — медиумом истории, а вернее, как думал Маркс, предыстории человечества. Подлинная история, история коммунистического общества, начнется тогда, когда в управлении людьми — через посредство ли суверенного насилия, дисциплины или же экономического интереса — отпадет всякая необходимость⁹. Вроде бы разрыв с «утопическим капитализмом» раннелиберальных теоретиков налицо. Тем более что Маркс неоднократно — и крайне язвительно — критиковал «естественные законы» буржуазной политэкономии: «До сих пор была история, а теперь ее более нет»¹⁰. Но, как полагает Розанваллон,

8. Розанваллон П. Указ. соч. С. 205.

9. Розанваллон, впрочем, полагает, что достижение коммунистическим обществом абсолютной прозрачности в силу преодоления всех видов отчуждения не открывает дверь в подлинную историю, а делает ее совершенно ненужной.

10. Маркс К. Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1955. Т. 4. С. 142. В «Истории и классовом сознании» Лукач приложил немало диалектических усилий, чтобы проблематизировать упрощенный экономический детерминизм вульгарного марксизма, опасно сблизившегося с либеральной политэкономией, и разрешить «неразрешимую» для буржуазного мышления задачу истории. Однако и его гегельянский вариант решения явно требует сегодня переосмысления (Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003. С. 167–169).

на самом деле речь должна идти не о разрыве, а о полной реализации этой утопии:

Коммунизм как... общество чистого сообщения (*commerce*) между людьми, таким образом, доводит до завершения либеральную утопию ценой противоречивого учреждения тотального социального организма¹¹.

Проблема истории в теоретическом наследии Маркса слишком сложна и многопланова, чтобы даже просто поставить ее здесь, не говоря уж о том, чтобы попытаться решить. Отметим лишь, что многие выдающиеся интерпретаторы этого наследия не просто не разделяют приведенную выше трактовку, но и активно критикуют ее. И что особенно важно, «экономическое» и «историческое» понимание Маркса часто критикуется в терминах политического — если не сказать суверенного — вмешательства. Как будто бы исторически конфликтующие друг с другом суверенная власть и экономическая гегемонность столкнулись теперь как противоположные принципы объяснения самой истории. Действительно, Вальтер Беньямин противопоставил конформистский экономический прогрессизм социал-демократии подлинному историческому материализму, согласно которому угнетенные должны не плыть по течению прогресса, но сорвать стоп-кран истории, создав настоящее «чрезвычайное положение» в ответ на «чрезвычайное положение» угнетателей, сделавших его правилом¹². На первый взгляд, довольно далекий от Беньямина Луи Альтюссер формулирует политическую задачу удивительно схожим образом. Стараясь освободить марксистскую теорию истории от гегельянской философии истории с ее понятием «сущностного среза», парализующим любую политику, он вводит концепт сверхдетерминации и поясняет его на примере русской революции следующим образом:

Если ленинская практика и ленинская мысль действительно доказали, что революционная ситуация в России была связана именно с *интенсивной сверхдетерминированностью* фундаментального классового противоречия, то, быть может, следует

11. Розанваллон П. Указ. соч. С. 216.

12. См.: Беньямин В. О понятии истории // Он же. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 241. Захватывающую интерпретацию этого двойного чрезвычайного положения см. в: Agamben G. Potentialities. Collected Essays in Philosophy. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999.

спросить себя, в чем заключается *исключительность* этой «исключительной *ситуации*» и не объясняется ли это исключение, как и всякое исключение, своим правилом — не является ли оно, без ведома правила, *самим правилом*? Разве не всегда мы находимся в исключительных ситуациях?¹³

То есть, в отличие от гегелевской философии, где вся конкретная сложность исторической жизни может быть рассмотрена как диалектическое разворачивание «принципа простого противоречия», марксистская теория учит нас тому, что реальная история — это всегда исключение из простого диалектического закона, а значит, и открытая возможность для политического вмешательства. В современной марксистской философии, во многом инспирированной наследием Альтюссера, вместе с усложнением понятия исторической темпоральности радикализуется и концепт политической интервенции¹⁴. Наконец, к этому же ряду следует отнести и концепцию учредительной власти, предложенную Антонио Негри¹⁵. Это может показаться странным, поскольку для него суверенитет — это главный враг учредительной власти, всякий раз стремящийся подчинить себе ее творческую, производительную мощь. Однако, как замечает сам Негри, есть точка, где противоположности диалектически совпадают. Критикуя политическую философию Ханны Арендт и одновременно стараясь защитить ценное ядро ее концепции от либеральной критики Хабермаса, Негри так пишет об «экспрессивной радикальности» частичного пересечения позиций Арендт и Шмитта:

Суверен — это тот, кто способен приостановить действие закона, в том числе и того закона, на котором основывается сам суверенитет. Это тот, для кого учредительная власть заключается в принципе собственного отрицания¹⁶.

13. Альтюссер Л. Указ. соч. С. 151. Критику гегелевской концепции исторического времени см.: *Althusser L.* Reading Capital. L.; N.Y.: Verso, 2015. P. 181–183.

14. См.: *Tomba M.* Marx's Temporalities. Leiden; Boston: Brill, 2013; *Morfino V.* Plural Temporality: Transindividuality and the Aleatory Between Spinoza and Althusser. Leiden; Boston: Brill, 2014; *The Government of Time: Theories of Plural Temporality in the Marxist Tradition / V. Morfino, P. D. Thomas (eds).* Leiden; Boston: Brill, 2019.

15. *Negri A.* Insurgencies: Constituent Power and the Modern State. Minneapolis; L.: University of Minnesota Press, 1999.

16. *Ibid.* P. 19.

Впрочем, теория Негри далеко не исчерпывается своей «суверенной» составляющей, и в финале статьи мы вернемся к другим ее аспектам.

«Чрезвычайное положение», «исключение, ставшее правилом», «вмешательство» — весь этот словарь действительно отсылает к мотиву суверенного решения, а возвращение суверенности в освободительную «политику времени» не может не быть проблематичным. Опыт успешных революций и их последующая судьба учат осторожности. Конечно, акцент на суверенности в современной радикальной философии не должен пониматься в терминах очередного «государственнического» соблазна. Речь тут скорее идет об автономизации или сингуляризации политического действия, образцом которой — если вообще можно говорить об образце там, где универсальные рецепты более не работают, — становится ленинская политическая практика¹⁷. Однако «хорошая» суверенная политика-как-сингулярность всегда находится в опасной близости к своему «дурному» двойнику. Сталинизм, например, может быть истолкован не только как Термидор, бюрократическое перерождение ленинской революции, но и в качестве ее «жуткой» (*unheimlich*) радикализации. Стивен Коткин в свое время напомнил нам, что именно Сталин систематизировал ленинское наследие, превратив его в «ленинизм», и что в «год великого перелома» Сталин «фактически возрождает революционный утопизм, воодушевлявший людей в годы гражданской войны» и сошедший на нет в экономико-«управленческую» эпоху НЭПа¹⁸.

Недавние исследования Джорджо Агамбена в области теологических истоков управленчества показали, что суверенитет и гувернаментальность, Царство и Правление принадлежат одной и той же «провиденциальной машине». Разработанная еще Отцами Церкви теологическая «ойкономия», обеспечивавшая в свое время единство Бога и мира, трансцендентного и имманентного, бытия и истории, до сих пор служит примирению «суверенитета и всеобщности закона с общественной экономикой и фактическим управлением отдельных людей»¹⁹. В такой перспективе советская история начинает выглядеть как цикличес-

17. Лазарюс С. Ленин и время (фрагменты) // Синий диван. 2017. № 22. С. 24–45.

18. Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1997. P. 16.

19. Агамбен Дж. Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления. М.; СПб.: Издательство Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2018. С. 452.

ская работа двигателя этой «провиденциальной машины»: от парадокса революционной суверенности, где условием исполнения «объективных законов» является их насильственная приостановка, к экономическому «управленчеству», где выигранное у объективного процесса время вновь растрачивается в попытках синхронизироваться с ним, а значит, с уверенностью можно сказать, что скоро с необходимостью потребуются новая суверенная мобилизация. Все выглядит так, как будто «волютаризм» и «фатализм», атрибутированные Лукачем слепому по отношению к диалектической истине истории буржуазному сознанию²⁰, остались горизонтом и для реальной социалистической политики. Выводы Агамбена заставляют пристальнее изучить опыт этой странной цикличности. Ниже речь пойдет о советской историографии русского средневековья, блестяще описанной Андреем Юргановым, которая наглядно демонстрирует парадоксы и неразрешимости суверенно-управленческой ойкономии истории эпохи сталинизма.

Один из самых интересных эпизодов в истории советской исторической науки связан с дискуссиями о подлинном характере государства в период складывания Московской Руси. Требовавшая определенной профессиональной квалификации специфичность предмета, весьма удаленного от проживаемой постреволюционной современности, и вместе с тем заряженность дискуссий актуальным на тот момент политико-идеологическим содержанием делают спор историков уникальным материалом для изучения сталинской «исторической политики». Подлинные ставки этого более чем двадцатилетнего спора раскрывает захватывающее исследование Андрея Юрганова «Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма» (2011)²¹. Юрганов скрупулезно прослеживает последовательную смену нескольких научно-идеологических конвенций по проблеме становления «Р/русского (много)национального централизованного государства» и показывает, какие острейшие конфликты скрывались за каждым словом (а иногда и буквой) этой на первой взгляд невинной формулировки. Нас во всей этой дискуссии будет интересовать не столько само русское Средневековье, сколько теоретические и идеологические последствия его полемических концептуализаций: каждая конвенция по-своему распределяла доли

20. См.: Лукач Г. Указ. соч. С. 107.

21. Юрганов А. Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М.: РГГУ, 2011.

«базиса» и «надстройки», экономических и политических факторов в историческом процессе, а соответственно, и по-своему представляла этот последний в целом.

Юрганов начинает с конвенции школы Михаила Покровского, чей авторитет до 1934 года был фактически непререкаем. Покровский являлся не только ведущим историком и методологом советской марксистской исторической науки, но и «модератором» (термин Юрганова) всех ключевых дискуссий по вопросам истории. Проблема соотношения базиса и надстройки вроде бы решалась им вполне однозначно. В статье «Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия» советский историк даже позволил себе критическое замечание в адрес Энгельса, написавшего в одном из писем об обратном воздействии «идеальных областей» на материальные условия жизни. Покровский так говорит об этом:

Можно опасаться, что это письмо Энгельса оказало большую услугу противникам марксизма, нежели книга Пауля Барта. Энгельс был сильно разгневан на Морица Вирта, а гнев — плохой советчик²².

И хотя в давнем споре «экономистов» и «искровцев» были правы, конечно, «искровцы» — в тот период (1900–1903) акцент на автономии политического был необходим «агитационно», — все-таки не нужно забывать, что экономические условия были и остаются определяющими для понимания истории.

Именно поэтому Покровский так настойчиво противопоставлял практически всей дореволюционной историографии свою версию русской позднесредневековой истории. Дореволюционная наука от Карамзина до Ключевского и Платонова объясняла становление Московского государства не экономическими причинами, а нуждами национальной обороны. «Надстройка» в таком объяснении обретала несвойственную ей историческую «суверенность»: несмотря на отсутствие экономических предпосылок, самодержавная монархия возникла как своего рода внеклассовый мобилизационный политический проект. Ситуация осложнялась тем, что «оборонческую» теорию в том или ином виде поддерживали такие марксистские теоретики, как Плеханов и Троцкий. Покровский потратил немало сил, разрабатывая знаменитую кон-

22. Покровский М. Н. Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия // Он же. Марксизм и особенности исторического развития России. Сб. ст. 1922–1925 гг. Л.: Прибой, 1925. С. 57.

цепцию «торгового капитала», чтобы поставить под вопрос старый тезис о примитивности экономической основы русского самодержавия.

Политический момент и в России, как и во всех других странах, никогда не был самодовлеющим: московский абсолютизм не «обгонял» развитие экономических отношений, а был точным их отражением²³.

Суверенная власть — не более чем поверхностный эффект глубинной «правительности» экономики, данной в ее историческом развитии.

Как показывает Юрганов, после смерти Покровского ситуация радикально меняется: функция главного модератора переходит от ученого, которым Покровский всегда оставался, несмотря на все свои политические и государственные посты, к политическому суверену — Сталину. Соответственно, и дискурс модерации приобретает совсем иной статус — он перестает быть контекстуальным и аргументативным и становится по-настоящему метафизическим. Так, высказывания Энгельса являлись для Покровского авторитетными, однако, как мы уже видели, при их интерпретации он учитывал контекст: слова классика — «гениального теоретика» и «великого историка» — об относительной автономии «идеальных областей» и их воздействии на экономический базис необходимо понимать *cum grano salis*. Фраза сказана в полемическом раздражении от «дубоватого педантизма» (Покровский) некоторых немецких материалистов, и нужно знать всю проблематику спора, чтобы верно ее оценить. Собственные суждения Покровский тоже рассматривал как контекстуально обусловленные. Сталинская же модерация строилась на совершенно других основаниях. Теперь все тексты основоположников и самого генсека приобретают абсолютную, внеконтекстуальную «истинность». Но поскольку в разное время они все-таки писали по-разному и часто противоречили друг другу и сами себе, то решить, какое именно из «истинных» высказываний необходимо применить в той или иной конкретной ситуации, мог лишь один человек:

Только Сталин, в объяснительных установках исторической науки, совпадал с истиной, и только он знал (или должен был

23. Там же. С. 91.

знать), что правильно в контекстуальной неопределенности («практике»)²⁴.

Анализ Юрганова показывает, что важнейшим событием, отмечающим закат прежней конвенции, можно назвать идеологическую кампанию 1930–1931 годов по преодолению отставания теории от практики. Эта кампания позволила Сталину, который в партии всегда считался именно *практиком*, перехватить политическую инициативу на интересующем нас здесь «историческом фронте». С одной стороны, приоритет практики имел, так сказать, «практический» смысл — реальная внутри- и внешнеполитическая обстановка была чрезвычайно сложной. Крах надежд на мировую революцию, возникновение и подъем фашизма в Европе, «великий перелом» и «революция сверху» в СССР — все это действительно бросало вызов устоявшимся марксистским объяснительным клише. Об этом вроде бы говорит и лексика критиков школы Покровского — «социологизм», «голый схематизм», «антидиалектика». Но кампания вовсе не имела целью повысить уровень теоретического осмысления ситуации. Она была нужна для того, чтобы расширить зону неопределенности между сложной политической эмпирией, которую досконально знал «практик» Сталин, и трансцендентной истинностью классических текстов. Если вспомнить замечание Фуко о том, что реальный социализм был слишком озабочен своим соответствием работам великих теоретиков, то сталинскую кампанию можно интерпретировать в качестве мистифицированной инверсии этой озабоченности.

Однако, как представляется, у этой истории есть еще одно — незамеченное — измерение. Противостояние двух типов модерации — это в определенном смысле и противостояние двух типов исторической *gouvernementalité*, «экономического» и «суверенного». Как известно, Карл Шмитт определял суверена через его способность объявлять чрезвычайное положение, то есть законно приостанавливать действие юридического закона. Сталин же здесь выступает как своего рода «сверхсуверен» — он приостанавливает действие «законов истории» и практически делает бывшее не бывшим.

Конечно, под огонь партийной критики попали лишь представления Покровского об исторических закономерностях, а не общемарксистский тезис об их объективном существова-

24. Юрганов А. Л. Указ. соч. С. 677.

нии. Но поскольку Сталин не сообщил, как нужно понимать эти объективные законы сегодня, «чрезвычайное положение» стало по-настоящему кафкианским: законы есть, но никто не знает, в чем они заключаются, — сами законы стали включенным исключением. Догадаться от противного тоже было довольно сложно: «ликвидаторские» взгляды Покровского и его учеников не столько критиковались, сколько объявлялись ошибочными без всякой аргументации. Историческому сообществу предстояло на свой страх и риск решать, в чем заблуждался Покровский и каково подлинно марксистское понимание исторического развития. Общий вектор новой, с огромными сложностями складывавшейся конвенции можно очень приблизительно описать так: от «экономического материализма» и «левого интернационализма» к государственничеству и национально-патриотической суверенности. Более или менее произвольно комбинируя тезисы Энгельса об относительной прогрессивности централизованной королевской власти, высказывания Сталина по национальному вопросу и частично реабилитированное наследие классической дореволюционной историографии, советским историкам удалось достичь временного идеологического консенсуса — правда, ценой табуирования дискуссий по целому ряду образовавшихся противоречий. Ренессансу суверенной власти в реальной политике соответствовал теперь ренессанс прошлой суверенной политики в советской историографии.

Расцвет этой суверенной модели пришелся на военные годы. Историки стали открыто говорить о необходимости «выдвинуть на первый план мотив русского национализма»²⁵. Возникает представление о «многовековой Руси», которая на протяжении всей своей истории являлась наставницей других народов. Своего рода пиком реставрационных усилий историков в диапазоне от Тарле до Яковлева стало выступление писателя и публициста Хорена Аджемяна на совещании историков в ЦК ВКП(б) 1 июня 1944 года. Его доклад содержал беспрецедентную критику марксистского учения о классовой борьбе, с одной стороны, и торжественный гимн во славу самодержавной монархии, чуть ли не выражавшей самосознание всего русского народа, — с другой²⁶.

25. Слова из доклада историка А. И. Яковлева на совещании «исторической общественности» в январе 1944 года цит. по: Юрганов А. Л. Указ. соч. С. 234.

26. Там же. С. 295.

Логично предположить, что ставка на реабилитацию «суверенного» прошлого — пусть и не такую радикальную, как у Аджемяна, — в условиях сталинского единоличного правления была бы более чем выигрышной. Однако логика подлинно суверенной власти в том и заключается, чтобы обманывать любые ожидания и поддерживать непрерывное чрезвычайное положение. В результате «реставраторы» были обвинены в великодержавном шовинизме, возрождении националистических предрассудков и поднятии на щит буржуазно-монархической кадетской историографии. В конечном счете официальная историческая наука вернулась к концепции Покровского, но на новом витке диалектической спирали: классовая борьба вновь объявлялась главным двигателем исторического развития. При этом важной новацией была критика «буржуазного объективизма» — классовая борьба уже понималась не как «театр теней», жестко детерминированный безличными экономическими процессами, а как политическая активность, наделенная некоторой автономией по отношению к ним.

Очевидно, что в случае со сталинским суверенным правлением мы сталкиваемся с показательным примером «вмешательства» в историю во всей двусмысленности слова «история». И не менее очевидно, что такое вмешательство лишь укрепляет «провиденциальную машину», где ойкономия истории намертво сплелась с историческим развитием экономики и где суверенная власть и управленчество являются лишь двумя полюсами одного теологического диспозитива власти.

Что же можно противопоставить этому диспозитиву? Здесь имеет смысл вернуться к парадоксам учредительной власти, проанализированным Антонио Негри. Как уже отмечалось, построения Негри не исчерпываются исключительно «суверенным» полюсом. Вообще учредительную власть в его концепции можно представить в качестве делезианской «машины войны», которая, даже будучи присвоенной «провиденциальной машиной», продолжает подрывную работу, осциллируя между ее полюсами, и в конце концов должна уничтожить эту последнюю. Здесь — по необходимости кратко — стоит обратиться к той части работы Негри об учредительной власти, где он размышляет о ней в связи с марксовым анализом первоначального накопления капитала. Этот фрагмент важен не только тем, что напоминает о роли суверенного/дисциплинарного насилия в реальном функционировании капиталистической экономики. Он еще и позволяет конкретизировать детали «провиденциальной машины» в качестве реальных

исторических сил, открывающих в различных фазах ее работы не-подрасчетную учредительную мощь.

Негри рассматривает описанный Марксом процесс первоначального накопления в двух взаимосвязанных модусах — насилия и кооперации. Как известно, по Марксу, насилие является «первородным грехом» политической экономики. Именно прямое насилие, отчуждая средства производства от непосредственных производителей, делает возможным появление самой капиталистической формации. В толковании Негри это насилие правящего класса обладает учредительным измерением — «поляризация товарного рынка» (Маркс) открепляет рабочего от земли, освобождает от феодальной зависимости и цеховых ограничений и принуждений. Она, как и машина войны у Делёза, «разрывает узы» и «предает договор», открывая тем самым возможности для учреждения новых социальных институтов и новых форм жизни. Однако учредительный импульс буржуазного насилия, мечущегося между накоплением и правом, быстро затухает: машина войны присваивается провиденциальной машиной. Грабёж и разбой принимают юридическую форму закона, закрепляющего систему экономического угнетения, и далее начинается процесс интериоризации принуждения. Дисциплинарная власть и экономическое управленчество, проанализированные Фуко, — это и есть «учрежденные» формы, в которых в итоге реализовалась и застыла учредительная потенциальность суверенного буржуазного произвола. Но первоначальное накопление, подчеркивает Негри, — это антагонистический феномен. Запущенный «разбоем» экономический процесс приводит не только к системной интериоризации насилия, но и к усилению кооперации и сотрудничества. Соответственно, то, что выше описывалось как институционализация принуждения и угнетения, может быть описано и иначе — с точки зрения «кооперации» мы наблюдали становление новой коллективной субъективности. Этот новый субъект также обладает несводимой учредительной способностью. Именно такая способность позволяет отыскать альтернативу слишком предсказуемому выбору между суверенной спонтанностью восстания и рационалистической утопией всеобщего экономического планирования. Коллективный «живой труд», ставший материальной силой, способен, по Негри, не просто освободиться от эксплуатации, но и послужить новой «начинательностью» за пределами самой диалектики капитала и, можно добавить, за пределами «провиденциальной машины». История здесь перестает быть диалектическим единством объективного закона и трансгрессии, всякий

раз оборачивающейся лишь «хитрым» помощником этого закона. Новая «начинательность» — это в том числе и новая историчность. Недавняя книга Негри и Хардта с многозначным названием «Ассамблея» (2017) заканчивается словами: «Мы еще не видели, что становится возможным, когда множество собирается (*assembles*)»²⁷. Конечно, сегодня такое заявление звучит куда менее оптимистично, чем аналогичные слова двадцать лет назад, во времена подъема антиглобалистского движения. Но в каждом актуальном историческом проигрыше продолжает сохраняться потенциальная сила способности, а значит, и учредительное время совсем другой истории.

Библиография

- Агамбен Дж. Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления. М.; СПб.: Издательство Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2018.
- Альтюссер Л. За Маркса. М.: Праксис, 2006.
- Беньямин В. О понятии истории // Он же. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 237–253.
- Бикбов А. За порогом новой эры правления // Дин М. Правительность: власть и правление в современных обществах. М.: Дело, 2016.
- Дин М. Правительность: власть и правление в современных обществах. М.: Дело, 2016.
- Лазарюс С. Ленин и время (фрагменты) // Синий диван. 2017. № 22. С. 24–45.
- Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003.
- Маркс К. Ницета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, 1955. Т. 4.
- Покровский М. Н. Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия // Он же. Марксизм и особенности исторического развития России. Сб. ст. 1922–1925 гг. Л.: Рабочее издательство «Прибой», 1925.
- Розанваллон П. Утопический капитализм. История идеи рынка. М.: НЛЮ, 2007.
- Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году. СПб.: Наука, 2010.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: А-сэд, 1994.
- Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: АСТ Москва; Хранитель, 2007.
- Юрганов А. Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М.: РГГУ, 2011.
- Agamben G. Potentialities. Collected Essays in Philosophy. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999.
- Althusser L. Reading Capital. L.; N.Y.: Verso, 2015.
- Hardt M., Negri A. Assembly. N.Y.: Oxford University Press, 2017.
- Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of California Press, 1997.

27. *Hardt M., Negri A. Assembly. N.Y.: Oxford University Press, 2017. P. 295.*

- Morfino V. *Plural Temporality: Transindividuality and the Aleatory Between Spinoza and Althusser*. Leiden; Boston: Brill, 2014.
- Negri A. *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*. Minneapolis; L.: University of Minnesota Press, 1999.
- Rindzeviciute E. *The Power of Systems: How Policy Sciences Opened Up the Cold War World*. Ithaca; L.: Cornell University Press, 2016.
- The Government of Time: Theories of Plural Temporality in the Marxist Tradition / V. Morfino, P.D. Thomas (eds)*. Leiden; Boston: Brill, 2019.
- Tomba M. *Marx's Temporalities*. Leiden; Boston: Brill, 2013.

THE INVISIBLE HAND OF HISTORY: GOVERNMENTALITY, THE PROVIDENTIAL MACHINE, AND HISTORICAL MATERIALISM

IGOR KOBYLIN. Associate Professor, Department of Social Sciences; Senior Research Fellow, Centre for Studies in History and Culture, Institute for Social Sciences (ISS), kigor55@mail.ru.
Privolzhsky Research Medical University (PRMU), 10/1 Minin and Pozharsky Sq., 603950 Nizhny Novgorod, Russia.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEP), 82 Vernadskogo Ave., 119571 Moscow, Russia.

Keywords: governmentality; sovereignty; state of exception; historical materialism; providential machine; economy.

The article is devoted to one aspect of the genealogy of Soviet governmentality. Michel Foucault, who elaborated the original theory of different types of governmentality, rejected the idea that socialism could arrive at its own practices of management. From his point of view, real socialism ties into the already existing police and liberal versions of governmentality. The “police-administrative” aspect of politics in socialist countries is well known, but its liberal component is only beginning to be systematically studied. In the theoretical canon, a revolutionary project nevertheless comes close to a liberal one: the Marxist criticism of bourgeois political economy shared the same epistemes with it. Some interpreters assume that this commonality also extends to concepts of history, that both Marxism and liberalism see economic rationality as a driving force in the historical process. Economic governmentality can be interpreted not only as a peculiar, historically determined disposition of power but also as a principle —both ontological and epistemological— that governs history itself.

That interpretation was disputed by the most prominent Marxist philosophers. In particular, Walter Benjamin and Louis Althusser criticized social-democratic “economism” and “progressism” as they rehabilitated the key concepts of sovereign policy. “Intervention,” “state of exception,” “the exception becoming the rule” — all these concepts refer not to regulation by policing practices but precisely to the model of sovereign decision. Any such revival of sovereignty in liberation politics is certainly problematic, especially when both sovereignty and governmentality belong to the same “providential machine” of theological “oikonomia” as recent studies by Giorgio Agamben have made clear. The article points out the paradoxes in suspension of the “laws of history” by the sovereign using the example of the debate among Soviet historians (which was studied in depth by Andrey Yurganov) about the true nature of the Russian late medieval state. In conclusion, the author analyzes Antonio Negri’s concept of constituent power as a force that can suspend the operation of the providential machine.

DOI: 10.22394/0869-5377-2021-4-247-263

References

- Agamben G. *Potentialities. Collected Essays in Philosophy*, Stanford, CA, Stanford University Press, 1999.
- Agamben G. *Tsarstvo i Slava. K teologicheskoi genealogii ekonomiki i upravleniia* [Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo], Moscow, Saint Petersburg, Gaidar Institute Press, Fakul'tet svobodnykh iskusstv i nauk SPbGU, 2018.

- Althusser L. *Reading Capital*, London, New York, Verso, 2015.
- Althusser L. *Za Marksia* [Pour Marx], Moscow, Praksis, 2006.
- Benjamin W. O poniatii istorii [Über den Begriff der Geschichte]. *Uchenie o podobii. Mediaesteticheskie proizvedeniia* [Doctrine of the Similar. Mediaesthetic Works], Moscow, RSUH, 2012, pp. 237–253.
- Bikbov A. Za porogom novoi ery pravleniia [At the Threshold of a New Era of Rule]. In: Dean M. *Pravitel'nost': vlast' i pravlenie v sovremennykh obshchestvakh* [Governmentality: Power and Rule in Modern Society], Moscow, Delo, 2016.
- Dean M. *Pravitel'nost': vlast' i pravlenie v sovremennykh obshchestvakh* [Governmentality: Power and Rule in Modern Society], Moscow, Delo, 2016.
- Foucault M. *Rozhdenie biopolitiki. Kurs leksii, prochitannykh v Kollezhe de Frans v 1978–1979 uchebnom godu* [La Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978–1979)], Saint Petersburg, Nauka, 2010.
- Foucault M. *Slova i veshchi. Arkheologiiia gumanitarnykh nauk* [Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines], Saint Petersburg, A-cad, 1994.
- Fukuyama F. *Konets istorii i poslednii chelovek* [The End of History and the Last Man], Moscow, AST Moskva, Khranitel', 2007.
- Hardt M., Negri A. *Assembly*, New York, Oxford University Press, 2017.
- Iurganov A. L. *Russkoe natsional'noe gosudarstvo. Zhiznennyi mir istorikov epokhi stalinizma* [The Russian National State. The Lifeworld of Historians of the Stalinist Era], Moscow, RSUH, 2011.
- Kotkin S. *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*, Berkeley, University of California Press, 1997.
- Lazarus S. Lenin i vremia (fragmenty) [Lénine et le temps (extraits)]. *Sinii divan* [Blue Sofa], 2017, no. 22. S. 24–45.
- Lukács G. *Istoriia i klassovoe soznanie. Issledovaniia po marksistskoi dialektike* [Geschichte und Klassenbewußtsein. Studien über marxistische Dialektik], Moscow, Logos-Al'tera, 2003.
- Marx K. Nishcheta filosofii [Das Elend der Philosophie]. In: Marx K., Engels F. *Soch.* [Works], 2nd ed., Moscow, Politizdat, 1955, vol. 4.
- Morfino V. *Plural Temporality: Transindividuality and the Aleatory Between Spinoza and Althusser*, Leiden, Boston, Brill, 2014.
- Negri A. *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*, Minneapolis, London, University of Minnesota Press, 1999.
- Pokrovskii M. N. Otkuda vzias' vneklassovaia teoriia razvitiia russkogo samodержaviiia [Where Did the Extra-Class Theory of the Development of the Russian Autocracy Come From?]. *Marksizm i osobennosti istoricheskogo razvitiia Rossii. Sb. st. 1922–1925 gg.* [Marxism and the Peculiarities of Russia's Historical Development. Collected Articles 1922–1925], Leningrad, Rabochee izdatel'stvo "Priboi", 1925.
- Rindzeviciute E. *The Power of Systems: How Policy Sciences Opened Up the Cold War World*, Ithaca, London, Cornell University Press, 2016.
- Rosanvallon P. *Utopicheskie kapitalizm: Istoriia idei rynka* [Le Capitalisme utopique. Histoire de l'idée de marché], Moscow, New Literary Observer, 2007.
- The Government of Time: Theories of Plural Temporality in the Marxist Tradition* (eds V. Morfino, P. D. Thomas), Leiden, Boston, Brill, 2019.
- Tomba M. *Marx's Temporalities*, Leiden, Boston, Brill, 2013.